

ГЕОРГ БРАНДЕС

БАЙРОН И ЕГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Георг Брандес

Байрон и его произведения

«Public Domain»

1888

Брандес Г. М.

Байрон и его произведения / Г. М. Брандес — «Public Domain», 1888

«Когда вы войдете в музей Торвальдсена в Копенгагене, то первым скульптурным произведением, которое по правую руку бросится в глаза, будет мраморный бюст красивого молодого человека с тонкими, благородными чертами лица, с чудными кудрями, бюст лорда Байрона. Такой же бюст, но только гипсовый, вы увидите и в зале № XII; бюст этот по смерти Байрона послужил моделью для его статуи, которую вам нетрудно будет отыскать в зале № XIII...»

© Брандес Г. М., 1888

© Public Domain, 1888

Содержание

I	5
II	13
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Георг Брандес

Байрон и его произведения

I

Когда вы войдете в музей Торвальдсена в Копенгагене, то первым скульптурным произведением, которое по правую руку бросится в глаза, будет мраморный бюст красивого молодого человека с тонкими, благородными чертами лица, с чудными кудрями, бюст лорда Байрона. Такой же бюст, но только гипсовый, вы увидите и в зале № XII; бюст этот по смерти Байрона послужил моделью для его статуи, которую вам нетрудно будет отыскать в зале № XIII. Если вы остановитесь перед гипсовым бюстом, который вне всякого сравнения отличается наибольшею выразительностью, то прежде всего вы будете поражены изяществом и осмысленностью его красоты, а затем жизнью, которая запечатлена в нем, и в особенности тревожными думами, расположившимися на его челе, подобно тучам, вот-вот готовым разразиться страшною грозою, и, наконец, мощною, подавляющею силою взгляда. Чело это носит на себе печать непоколебимой энергии.

Если подумать о разнице в характерах Байрона и Торвальдсена и припомнить при этом, что последний, по всему вероятно, во всю жизнь не прочел ни единой строки английского поэта, и Байрон представлялся Торвальдсену далеко не в выгодном свете, то нельзя не подивиться результату встречи этих двух великих людей. Правда, бюст передает слабо и недостаточно, но за то правдиво и прекрасно, одну из преобладающих черт байроновского характера, которая так далека была от торвальдсеновской: область, в которой Торвальдсен был действительно велик, – идиллия; когда он изображает въезд Александра в Вавилон, то пастухи, овцы, рыбак, дети и женщины, вся обстановка торжественной процессии удаются ему несравненно лучше, нежели сам герой; героическое не всегда по плечу Торвальдсену; но его дело и изображение проявлений мятежного духа в той сложной, новейшей форме, которую называли демонической. И все таки он прекрасно понял дух Байрона. Своим бюстом он воздвиг поэту памятник, который, правда, не пришелся по вкусу ни графине Гвиччиоли (Guiccioli), ни Томасу Луру, тем не менее вполне достоин и поэта, и художника. Знай последний Байрона лично, произведение его, наверное, больше выиграло-бы и лучше передавало-бы тот открытый, приятный характер, который так очаровывал всех, кто был знаком с поэтом. Но этого-то и нет в бюсте. Как-бы то ни было, датскому художнику вполне удалось под мрачным выражением, которое он придал бюсту, по его признанию, совершенно случайно, воспроизвести реальное, глубоко-своеобразное выражение скорби, тревоги, гениальной мысли, благородной и страшной силы.

Несомненно, что это тот самый Байрон, каким его знали по музею и с которым выросло прежнее поколение; но, не смотря на это, относительно бюста упорно держался анекдот о посещении поэтом мастерской Торвальдсена и восклицании его, что он хотел-бы казаться, менее несчастным¹, и все невольно дивились, что такой великий человек не мог быть вполне естественным. Таким образом, уже с самого начала мы стали к Байрону в неестественные, ложные отношения. В подобные странные отношения стало к нему и новое поколение в течение последнего пятидесятилетия, протекшего со смерти поэта. Он слишком далек от того, чтобы быть героем наших дней. Все, что так интересовало в нем наших дедушек и бабушек, и интересовало их даже более, чем его поэтический гений, все это отвергнуто нынешним поколением. Нынешнее поколение уже не интересуется ни легендами о нем, ни много-

¹ Thiele: Thorwaldsen in Rom. Bd. I, 312.

численными преданиями, которые связаны с историей его жизни и мешают беспристрастно взглянуть на нее; для него поэт уже не театральный герой, галстук которого служил моделью для всех франтов, не романический герой, никогда не расстававшийся с своими пистолетами, герой, любовные похождения которого были не менее известны, чем его произведения, не тот, наконец, аристократ, громкий титул которого был так дорог ему, но увы! уже не производил импонирующего действия на его демократическое потомство. Наш практический положительный век невысоко ставит человека, считавшего за честь быть Байроном, в житейских же делах бывшего диллетантом. Для него было делом чести заниматься своим искусством только в качестве любителя и диллетанта. В предисловии к своим первым стихотворениям, молодой поэт замечает, что его положения и стремления становятся крайне неправдоподобными, и что он никогда более не возьмется за перо. В апреле 1814 года, находясь уже на вершине славы, которую создали ему его первые поэтические произведения, он решается более не писать и написанное им раньше уничтожить. Спустя месяц, он пишет «Лару», и когда Джефри замечает, что характер героя обработан очень старательно, он (в одном из писем 1822 года) говорит: «Что подразумевают рецензенты под выражением: «старательно обработан»? Лару писал я, раздеваясь по возвращении с карнавалов и маскарадов 1814 года, на которые я так любил ходить.» Отсюда легко видеть, что он особенно подчеркивал небрежность, своего творчества и отсутствие плана – неизбежное последствие этой небрежности: прежде всего, ему хотелось быть светским человеком и не поэтом по профессии, а диллетантом в поэзии, чего не позволял ему его гений. Стараясь всеми силами казаться диллетантом в своей области, где он никогда не мог им быть, и не отдавая, к великому нашему сожалению, должного своему таланту, он, напротив, был чистейшим диллетантом на том поприще, где ему этого отнюдь не хотелось, а именно – в политике. Сколько ни выказывал он практического смысла, выступая на политическое поприще, политиком его, собственно говоря, руководила только жажда приключений, безразлично: принимал ли он участие в заговоре карбонариев в Равенне, или стоял во главе сулиотов в Миссолунгии. Так, едва порешив ехать в Грецию, он, прежде всего, позаботился о том, чтобы заказать для себя и своих товарищей золоченые шлемы с аристократическими девизами. Политик нашего времени – это человек, который имеет определенный план действий, твердо придерживается его, год из году развивает и, наконец, выполняет с твердостью и энергией поистине геройскими, отнюдь не прибегая при этом к каким-нибудь внешним атрибутам. Наконец, целый рой байроновских поклонников и подражателей стал между ним и нами, и образ великого человека помрачился, и впечатление от него потускнело. Ему приписывали их качества и ставили в вину их ошибки. С наступлением в литературе реакции против тех, которые вполнину или совсем ложно понимали его, против людей, разбитых жизнью, разочарованных и интересничавших, имя великого поэта, вместе с именами его подражателей, звезда которых уже угасла, было отодвинуто на задний план, хотя и заслуживало лучшей участи.

Джордж Гордон Байрон родился 22 января 1788 года от страстной и несчастной матери, которая не задолго перед тем разошлась с своим грубым, беспутным мужем, капитаном Байроном, долгое время служившим в Америке, гвардейским офицером; за свою бесшабашную, разгульную жизнь в молодости этот капитан был всюду известен под именем «сумасбродного Джэка Байрона». За увоз жены маркиза Кармартена (Carmarthen) капитан был привлечен к суду; дело кончилось разводом, и он женился на маркизе. Промотав состояние жены, он обращался с ною так грубо, что та вскоре умерла от горя. Затем, вместе с своей маленькой дочерью, он отправился в Англию и, единственно из денежных расчетов, женился на богатой шотландской наследнице, мисс Катарине Гордон, впоследствии матери того ребенка, слава которого гремит теперь по всему миру. Почти тотчас-же после женитьбы, капитан Байрон начал точно так-же распоряжаться состоянием своей второй жены, как первой, и через год, от её 24,000 фунтов стерлингов оставалось всего 3,000. Она покинула его во Франции и родила

в Лондоне свое первое и единственное дитя. При рождении нога дитяти была вывихнута или Повреждена.

Через два года, мать с ребенком перебрались в Шотландию, в Эбордин, куда повременам, отдыхая от своих кутежей, заглядывал и капитан Байрон, в надежде выманить у жены последние гроши. Мистрисс Байрон зачастую принимала его очень радушно; посещения становились все чаще и чаще; наконец, чтобы избежать преследований докучных кредиторов, он вынужден был бежать во Францию, где вскоре и умер. Когда известие о его смерти дошло до жены, которая никогда не переставала его любить, она до того огорчилась, что рыдания её огласили всю улицу. У обоих родителей Байрона мы встречаем одну общую характерную черту, которая выразилась у них только не в одинаковой степени и форме, — необыкновенную страстность, соединенную с значительным недостатком самообладания.

Обращаясь к восходящим линиям, мы найдем у предков обоих семейств одни и те же черты: у родственников матери — попытки самоубийства и отравления, у родственников отца — геройскую храбрость и какую-то дикость в образе жизни. Дед Байрона с отцовской стороны, адмирал Джон Байрон, известный везде под именем смелого Байрона, «hardy Вугон», принимал участие в морской войне с испанцами и французами, плавал по Тихому океану с целью открытий, объехал вокруг земного шара, испытал массу опасностей, приключений и кораблекрушений. Так как у него ни одно путешествие не обходилось без страшных бурь, то матросы дали ему кличку «foul-weather-Taek». Байрон сравнивает свою судьбу с судьбой этого родственника. У брата последнего, деда Виллиама, характерные родовые черты тоже ясно выступают наружу. Это был развращенный забияка, убивший ни с того, ни с сего, на дуэли без секундантов, своего соседа Чэворта (Chaworth.) Только благодаря своему английскому пэрству, удалось ему избежать должной кары за намеренное убийство; он поселился теперь в своем Ньюсгедском аббатстве и жил там, избегаемый всеми, как прокаженный. Домашние ненавидели его; супруга покинула; суеверные деревенские жители рассказывали самые отвратительные истории о совершенных им будто-бы убийствах.

Беспокойная кровь текла в жилах поэта, но кровь эта за то была старинною, аристократическою кровью. С материнской стороны он находился в родстве с Стюартами и мог довести свой род до короля Иакова II. С отцовской стороны происходил он (все-же единственный незаконный сын в родовом древе — обстоятельство, о котором сам Байрон никогда не упоминает) от древнего норманнского дворянского рода, один из предков которого, известный Радульф де-Бурун, принимал участие в завоевании Англии норманнами. Так как упомянутый дедушка лишился своего единственного сына, а затем, в 1794 году, и своего единственного внука, то представлялась возможность, что его ньюсгедское имение, а вместе с ним и пэрские права и титул, должны будут перейти к ребенку, которого он в глаза не видал и которого обыкновенно называл «мальчиком, живущим в Эбердине».

Хромой малютка рос, таким образом, с блестящею перспективою впереди. Горд и упрям был он от природы. Когда его еще совсем миленького побранили за то, что он запачкал свое новое платье, он, не говоря ни слова, бледный, как смерть, вцепился себе в грудь обеими руками и в припадке ярости (впоследствии нередко) разорвал на себе платье сверху до низу. Воспитание, данное ему матерью, носило такой характер, что она то осыпала ребенка всевозможной бранью, то расточала всевозможные ласки, то обвиняла его в несправедливостях, которые причинял ей отец, то попрекала уродством. Она больше всех виновата в том, (что это уродство с самых юных лет набросило мрачную тень на душу ребенка. Не раз мать в глаза называла его уродом. От ортопедических машин и бинтований дело нисколько не улучшалось; нога болела, и мальчику нужно было много усилий, чтобы скрыть боль и хромоту. Подчас он решительно не выносил ни малейших намеков на свой недостаток, подчас же с горьким юмором сам подсмеивался над своей «косой лапой».

Не отличаясь большим прилежанием в школе, ребенок едва научился читать, как с жаром принялся за исторические сочинения и в особенности за путешествия. Таким образом, его страстному стремлению на восток было положено начало еще в самом раннем детстве. Он сам говорит, что не имея еще и 10 лет от роду, он прочел более десятка больших книг о Турции, кроме того, несколько путешествий и арабские сказки. Излюбленным романом мальчика был «Зелуко», Джона Мура, герой которого, вследствие дурного воспитания, полученного от матери, и после смерти отца, предается всевозможнейшим прихотям своей фантазии, а характер его, в конце концов, становится «так-же легко воспламеним, как ружейный порох». Ребенок видел себя, как в зеркале, в этом герое романа, напоминающем Вилльяма Лоуэлла. Между особенностями, игравшими впоследствии решающую роль в жизни поэта, страстное влечение к женщинам уже началось с самого раннего детства. Всего еще пяти лет от роду, он до такой степени влюбился в маленькую девочку Марию Дёф, что был как громом поражен, когда однажды, одиннадцать лет спустя, услышал об её замужестве.

К гордости, страстности, меланхолии и фантастической жажде путешествий присоединилась еще очень важная характеристическая черта – пламенная любовь к истине, наивная правдивость, сказавшаяся еще в детстве того, кому выпало на долю бороться с общественным лицемерием в Европе. Его склонность противоречить была только одною из форм его любви к истине. Следующий анекдот из его детства доказывает, как горячо он любил правду. Раз нянька взяла его в театр на «Укрощение строптивой» Шекспира, и когда актеры дошли до той сцены, где Катарина говорит: «Это месяц», а Петручио, чтобы укротить ее, возражает: «Э! Да как же ты завираешься, это – солнышко красное», мальчик, возмущенный неправдою, вскочил с места и крикнул актеру: «А я говорю вам, милостивый государь, что это – месяц».

Когда Джорджу минуло десять лет, умер его дед. Первым движением мальчика было бежать к матери и спросить ее, не заметила-ли она в нем какой-нибудь перемены, так как он теперь стал лордом. Когда на другой день в школе перекликали учеников и к его имени, к общему удовольствию товарищей, был прибавлен титул *dominus*, он до того был растроган, что залился слезами и не мог произнести обычного *adsum*.

Осенью 1798 года миссис Байрон отправилась с своим маленьким сыном в Ньюстед. Когда они подъехали к шоссейной заставе Ньюстеда, миссис Байрон, делая вид, будто не знает местности, спросила женщину, подымавшую шлагбаум, кому принадлежат парк и замок. Женщина сказала, что последний владелец аббатства умер несколько месяцев тому назад, – «А кто же его наследник?» спросила она вне себя *от* радости. – «Да, должно быть, тот мальчуган, который живет в Эбердине».

Тогда нянька, у которой сидел на коленях маленький Байрон, не могла сдержать себя от радости и торжественно воскликнула: «Вот он, вот он, и да благословит его Господь Бог»!

В 1801 году, мальчика отдали в школу в Гарроу (Harrow), одну из английских национальных школ, которые так жаловала высшая аристократия. Преподавание греческого и латинского яз. отличалось и сухостью, и педантизмом и не имело особенного действия на Байрона, который обыкновенно находился в крайне натянутых отношениях с своими учителями, заводя самую романическую дружбу с своими товарищами: «Моя школьная дружба», говорит он в своем дневнике 1821 года, «была формальной страстью, ибо я всегда был очень неспокоен». Он всегда был великодушным другом и защитником слабых. Когда однажды на Пиля, впоследствии министра, напал один из взрослых товарищей и начал его немилосердно колотить, Байрон прорвал расхोившегося бойца просьбою уделить ему половину ударов, назначенных его товарищу. Когда один из младших учителей обжог раскаленным железом руку маленькому лорду Гарту за то, что тот плохо поджарил ему хлеб, и мальчик, когда дело дошло до разбирательства, наотрез отказался назвать имя виновного, то Байрон пригласил его жить вместе с собою в одной комнате, обещая, что впредь ему некого будет бояться.

«Я стал под его защиту», говорит лорд Горт (см. Мемуары графини Гвитчиоли (Guiccioli), «был крайне счастлив, что приобрел такого доброго и великодушного начальника, который постоянно дарил мне пирожки и всякия лакомства и снисходительно переносил все мои ошибки...» В своих «Часах Досуга» Байрон вспоминает о школьной жизни в прекрасных стихах, обращенных к своему любимому товарищу, герцогу Дорсету.

Когда Байрон приезжал на праздники домой, мать накидывалась на него со всею своею раздражительностью, но знавшею никаких пределов; но вместо того, чтобы трепетать от страха, он частенько не мог удержаться от смеху, видя эту слабость маленькой толстой женщины. Мало того, что она в припадке бешенства колотила всякую посуду, она иногда обращала своего сына в бегство, преследуя его со щипцами или ножом в руках².

Вообразите себе, после одной из подобных сцен, появление молодой белокурой девушки, одним взглядом усмиравшей упрямого мальчика, и вам представится живая картина, вероятно, не раз происходившая в замке Аннеслей, в семействе Чэвортс (предок этой семьи был убит на дуэли дедушкой Байрона Вильямом), когда мать и сын гостили в нем, а юная мисс Мэри Анна Чэвортс хоть на мгновение останавливала свои глаза на Джордже. Ей было семнадцать лет, ему пятнадцать. Он страстно любил ее и ревновал. На балах, где она блистала, ему, по принимавшему участию в танцах, вследствие своей хромоты, приходилось с болью в сердце смотреть, как её стан обвивали чужия руки. Наконец, в один прекрасный вечер, ему удалось услышать, как, разговаривая с горничной, намекнувшей ей о Байроне и его видах на нее, она ответила: «Неужели ты думаешь, что меня интересует этот хромо мальчишка?» Он проглотил обиду и ретировался. Тридцать лет спустя, обливаясь слезами, написал он в вилле Диодати, на Женевском озере; свое стихотворение «Сон», которое говорить об этой любви и служит доказательством, как близко к сердцу принял он это юношеское разочарование³.

Отношения между матерью и сыном становились тем более неестественными, чем с большим спокойствием и насмешкою относился Байрон к припадкам бешенства своей матери. Дело дошло до того, что однажды вечером они оба отправились в аптеку с просьбой отпустить безвредной микстуры, если кто-нибудь из них спросит себе яду. Угрожали-ли они друг другу самоубийством? С горьким юмором говорить молодой Байрон в своих письмах о прогулках, благодаря которым он нередко избегал домашних сцен и о которых он ни слова не говорил из страха, по его выражению, «перед обычными материнскими буйными завываниями».

В 1805 году Байрон поступил в Кэмбриджский университет, где проводил свое время не столько в занятиях университетскими науками, сколько в телесных упражнениях, которым он еще с детских лет отдался с особенным жаром, чтобы как-нибудь загладить свой физический недостаток, езда верхом, плавание, ныряние, стрельба, бокс, игра в крокет и попойки – вот искусства, которые он считал своим священным долгом изучить во всей полноте. В нем уже начал немного проглядывать денди. Из одного мальчишеского хвастовства ходил он обыкновенно гулять в сопровождении хорошенькой девушки, которую одевал

² Д'Израэли, нынешний премьер-министр, весьма живо и правдоподобно изобразил в своем романе «Венеция» эти отношения между матерью и сыном.

³ Крайне интересно, как мать, дни года после того, как Байрон уже оставил всякую надежду, сообщила ему о том, что мисс Чэвортс выходит замуж. Они получила известие как раз к то время, когда у неё были гости. «Байрон! сказала она сыну: у меня есть для тебя новость!» – Что такое? – «Достань себе платок, он тебе понадобится». – Байрон сделал, что было ему приказано. Когда затем мать сообщила ему, что мисс Чэвортс вышла замуж, он быстро сунул платок в карман и с искусным равнодушием и холодностью сказал: «Только-то?» в то время, как лицо его страшно побледнело. На замечание матери, что это известие, как они полагала, причинит ему страшное горе, он ничего не отвечал и заговорил совсем о другом. Чем меньше находил он в своей матери друга, с которым мог бы отвести душу, тем большую испытывал он необходимость поверять свои чувства и заботы бумаге.

пажем и выдавал за своего младшего брата⁴; раз даже он дошел до того, что под этим именем представил ее одной незнакомой даме на водах в Брайтоне.

Ньюстедское аббатство отдавалось в наймы; лишь только наемщик оставил его, Байрон не замедлил переселиться туда. Это – старинное готическое аббатство с трапезною и кельями, заложенное еще в 1170 году, обнесенное кругом стеною, с парком, озером и готическим колодцем на дворе. Здесь, вместе со своими товарищами, наперекор всем правилам, он вел самую бесшабашную жизнь, отличавшуюся тем же характером и оригинальностью, которые так часто встречаются у гениальных юношей, еще не вполне совпавших задачи и цели своего существования. Вставали обыкновенно в замке часа в два по-полудни, затем фехтовали, играли в волан, стреляли из пистолетов, а после обеда к великому ужасу богобоязненных соседей, пили круговую из черепа, наполненного бургонским вином. Черен этот, случайно вырытый садовником и, вероятно, принадлежавший какому-нибудь монаху, по нелепой прихоти Байрона, был оправлен в серебро и служил поэту и его товарищам вместо чаши, когда они, из чистого ребячества, одевались в монашеские рясы и обвешивались четками и крестами⁵. Не следует, однако, смотреть на эту проделку с черепом, как на юношеский цинизм, нередко обнаруживаемый, например, молодыми медиками. Характер, подобный Байроновскому, по всему вероятно, чувствовал мучительное наслаждение, имея во время пирушки перед глазами такое своеобразное *temento mori*. В стихах, которые Байрон написал на кубке говорится, что прикосновение губ человеческих для мертвеца, во всяком случае, менее противно, чем прикосновение червя. Однако, его странные выходки отнюдь не вытекали из одного необузданного высокомерия. Им овладевала не только та грусть, которая так часто встречается у выдающихся натур в их первой молодости, вследствие сознания, что им, наделенным еще неиспытанными способностями и силами, предстоит стать лицом к лицу с труднейшими вопросами жизни, – ему присуща была еще меланхолия, вследствие его склада характера, воспитания и его бурных страстей. Из этого периода его жизни рассказывают два анекдота, от которых биографы его обыкновенно приходят в восторг. Первый касается его собаки.

В 1808 году, на могиле своей любимой собаки он сделал в высшей степени мизантропическую надпись, в которой превозносил собаку на счет всего человечества и в то-же время сделал завещание (.впоследствии уничтоженное), в котором высказывал желание быть похороненным рядом с этой собакой, своим единственным другом. Другое свидетельство одиночества, испытанного им, относится к тому, каким образом он отпраздновал день своего рождения в 1809 году. В этот день ему исполнился 21 год, и по английским законам он сделался совершеннолетним. День этот в Англии считается величайшим торжеством; аристократия празднует его танцами, иллюминацией, фейерверком и угощением всех фермеров. Байрон был так беден, что только за лихвенные проценты мог раздобыть денег, чтобы жарить, по обычаю, целого быка и сделать своим людям бал. Ни ряда экипажей с именитыми поздравителями не было видно у ворот его замка 22-го января 1809 года, ни мать, ни сестра, ни опекун, ни кто-либо из родственников не явились к нему с визитом, и он провел этот день в одной из лондонских гостинниц. В одном из его писем за 1822 год говорится: «Разве я не рассказывал вам, как я в день своего совершеннолетия ел за обедом яичницу с вядчиной и запивал ее бутылочкой эля? Это мое любимое кушанье и мой любимый напиток. Но так как мой желудок не выносит ни того, ни другого, то я позволяю себе эту роскошь только раз в четыре или пять лет, да и то по большим праздникам». Понятное дело, приятнее быть богатым, чем бедным, и более льстит самолюбию, если приходится принимать всякия родственные и неродственные поздравления, чем если чувствуешь себя в полнейшем одиночестве, но

⁴ Гордона.

⁵ Теперешний владелец Ньюстеда из религиозных побуждений велел похоронить этот череп.

в сравнении с теми трудностями, лишениями и унижением, с которыми приходится бороться каждому современному молодому плебею в начале своего жизненного, поприща, горе этого юного патриция едва-ли может быть принято во внимание. Оно имеет свое значение только в том отношении, что заблаговременно указало Байрону, который, как аристократ, мог бы очень легко занестись в своих сословных чувствах, как нередко единичная, изолированная личность нуждается в посторонней помощи.

Ни одно из величайших политических событий того периода, ни общий энтузиазм, ни общее негодование против исторических катастроф, которыми так богато было то время, не могли оторвать Байрона от его беспорядочной, безтактной жизни в Ньюстедде. События, как смерть Фокса или как позорное для Англии бомбардирование Копенгагена, не заинтересовали юношу, которого, как человека, должно было бы волновать всякое политическое событие, будь оно хорошо или преступно. Только благодаря личной литературной неудаче, произошел переворот в его жизни. Во время своего пребывания с лета 1806 до лета 1807 года в маленьком городке Соутвеле, Байрон написал свои первые поэтические опыты, которые были встречены весьма сочувственно младшими членами семейства Пигот (Pigot), которое жило по соседству с ним. В марте 1807 года появился сборник его стихотворений, под заглавием «Hours of idleness» («Часы досуга»). Между этими стихотворениями редкое обладает какими-либо достоинствами; те из них, которые проникнуты живою энергией или неподдельным чувством, теряются в массе ученических попыток, частью переводов и подражаний прочитанным в школе классическим поэтам и Оссиану, частью сентиментальных, слабых в стилистическом отношении стихотворений, воспевающих дружбу и любовь. Впрочем, некоторые стихотворения ясно указывают нам будущего Байрона, как по своему характеру, так и по слогу. Так, в стихотворении «To a lady» («К даме»), посвященном Мэри Чэвортс, встречаются истинно байроновские строфы.

В действительности-же, стихотворения эти прошли почти неаамеченными, а так как они к тому-же сопровождались ребяческими и безтолковыми примечаниями, предисловием с большими претензиями и сверх всего к имени автора, красовавшемуся на заглавном листе, было прибавлено «несовершеннолетний», то этот сборник послужил богатым материалом для насмешки и сатиры. В январе 1808 г., в «Edinburgh Review», одном из лучших критических органов того времени, был помещен крайне едкий разбор этих стихотворений, сделанный, по всему вероятно, лордом Вруном (Brougham). «Несовершеннолетие, говорится там, можно видеть и на заглавном листе, и даже на переплете... Если-бы кому-нибудь пришло в голову посетовать на лорда Байрона за изданную им массу стихов, то этот судья, на верное, уж не признает их за истинную поэзию... Он мог-бы это объяснить несовершеннолетием поэта, но так так товар предлагается добровольно»... и т. д. Затем, рецензент снова продолжает: «Очень возможно, что автор желает сказать: смотрите, как мальчик может писать! И вправду, вот стихотворение 18-ти летнего молодого человека, а вот и 16-ти летнего. Будучи далеки от мысли, что эти жалкие стишонки написаны в промежуточное время между гимназией и университетом, мы, напротив, склонны думать, что из десяти английских гимназистов девять в состоянии написать точно также, а десятый напишет даже лучше самого лорда Байрона... Мы считаем своим долгом ему заметить, что удачная рифма и правильный размер, — и это, впрочем, но всегда у него удается — далеко еще не составляют всего того, что требуется от поэта. Для поэта нужна еще некоторая фантазия и т. д.» Затем, — рецензент советует Байрону распрощаться навсегда с поэзией и воспользоваться своими способностями и преимуществами своего положения для чего-нибудь иного, более полезного. Рецензия эта, направленная против одного из величайших поэтов нашего века человеком, задавшимся мыслью критически разбирать и ценить произведения человеческого ума, не смотря на некоторую долю правды, была, надо сознаться, весьма и весьма неловкою шуткой. Но она наиболее всего послужила Байрону на пользу. Она раздражила его, как дерзкий вызов; она

смертельно ранила его тщеславие и пробудила в нем гордость, которой суждено было пережить это тщеславие. Приятель, посетивший его тотчас после того, как статья эта побывала уже в руках у Байрона, уверяет, что глаза поэта светились таким чудным выражением злобы и гордости, что художник, который пожелал-бы изобразить оскорбленное божество, вряд ли бы отыскал лучший образец для изображения страшной красоты. От своей среды он скрыл, как глубоко он был оскорблен; в одном из писем того времени он сожалеет, что на его мать эта рецензия подействовала так сильно. Он говорит, что ему эта статья не испортила ни сна, ни аппетита, и прибавляет, что эти бумажные пули только научили его твердо стоять под выстрелами. Лет десять с небольшим спустя, он пишет: «Я еще очень живо помню, какое впечатление произвела на меня Эдинбургская критика: это была чистейшая ярость, решимость дать отпор и отомстить за себя, но отнюдь не малодушие или отчаяние. Безжалостная критика – это яд для начинающего писателя; она сбила меня с ног, но я поднялся снова... и решился, во что-бы то ни стало, заставить умолкнуть это воронье карканье и вскоре снова заговорить о себе». Таким образом, толчек, данный извне, заставил страстную и разбитую душу молодого человека сосредоточиться на одном чувстве, на одной идее. С твердою решимостью и упорною настойчивостью начал он работать, спал днем, вставал после солнечного заката, чтобы иметь больше покоя, и писал в продолжение нескольких месяцев целые ночи напролет, вплоть до рассвета, свою знаменитую сатиру «Английские барды и шотландские обозреватели».

II

Сатира эта по праву пользовалась известностью и пользуется еще до сих пор, но не ради её остроумия и юмора, которых напрасно было-бы в ней искать, и не ради меткости её ударов, которые падают мимо, направо и налево, по ради её мощи, чувства собственного достоинства и неслыханной смелости, которые лежали в её основе и проявились здесь во всей своей силе. Нападки критики вызвали в Байроне в первый раз такое чувство, которому суждено было укорениться в его характере, чувство, в котором он впервые узнал самого себя, а именно: я один против вас всех! Это впечатление было для него, как и для других великих исторических борцов, жизненным элексиром: «Меня осмеять безнаказанно! Сметь думать меня уничтожить! Меня, который один сильнее их всех!» Вот что звучало у него в ушах, когда он писал свою сатиру. Эдинбургцы привыкли видеть, когда им удавалось одною из подобных рецензий сбить с ног какого-нибудь дюжинного поэта, подобно мухе или жалкой подстреленной пташке, как раненый грустил в тиши или малодушно признавался в своем ничтожном даровании, так что за рецензией, во всяком случае, наступало молчание. Но тут они натолкнулись на такого, вся сила и слабость которого в том-то именно и заключалась, что он никогда не приписывал себе вины в неудаче, но обыкновенно усердно сваливал ее на других. Но и на этот раз за рецензией последовало полуторагодовичное молчание. Потом произошло то же, что и у Виктора Гюго в его «*La caravane*» (из «*Châtiments*»):

Tout it coup nu milieu de ce silence morne
Qui monte et qui s'accroît de moment en moment
S'élève un formidable et long rugissement,
C'est le lion.

И картина верна. Действительно, эта ни чудная, ни грациозная, ни остроумная сатира скорее – рычание, нежели пение. Поэт, обладающий соловьиным голосом, приходит в упоение, слыша впервые трели своего чудного голоса; гадкий утенок замечает свою лебединую природу, когда попадает в свою сферу; но рычание молодого льва приводит его самого в восторг и показывает ему, что он теперь вырос и обладает силой. Поэтому нечего искать в «Английских бардах и шотландских обозревателях» ударов меча, которыми наделяет мощная и верная рука; эти раны наносила не рука, это царапины, сделанные лапой, – но *ex ungue leonein!* Здесь нечего искать ни критики, ни сдержанности, ни даже здравого смысла; разве раненый зверь знает меру или пощаду, если пуля, которая должна была убить его на-повал, только ранила его? Нет, зверь видит, как льется его кровь перед его глазами, и он хочет в отмщение также пролить кровь. Он ищет не того только, кто сделал выстрел; если один из толпы охотников ранит молодого льва, тогда горе всей толпе! Все знаменитые английские поэты, наиболее известные и наиболее прославленные, все те, которые стояли на хорошем счету у «*Edinburgh Renew*», все писавшие для этого журнала, третируются, как школьники, в этой сатире двадцатилетним юношей, тем именно юношей, который сам еще недавно только сошел со школьной скамьи. Английские поэты и шотландские рецензенты должны были здесь один за другим пройти сквозь строй. Здесь нередко попадают довольно ядовитые словца, которые говорят далеко не на ветер. Натянутая фантастичность поэмы Соути «Талиба» и чрезвычайная плодовитость этого писателя, доводы Вордсворта, доказывающего на своих стихотворениях истину своего положения, что стихи и проза – одно и то-же, нелепое ребячество Кольриджа, прихотливость Мура, – все это подвергается тут самым ядовитым насмешкам. Над «Мармионом» Скотта, напоминавшем инвективы Аристофана против героев Эврипида, одним ударом произнесен окончательный приговор. Но большинство

этих нападок все-таки так неразумны и бессмысленны, что они впоследствии причинили самому автору гораздо более неприятностей, чем тем, против кого они были направлены. Опекун Байрона, лорд Карлейль, которому еще так недавно были посвящены «Часы досуга», но которой отказался ввести в парламент своего питомца, люди, как Скотт, Мур, лорд Голланд, которые позднее были лучшими друзьями Байрона, были выруганы здесь беспощадным образом без всякого повода с их стороны, на основании совершенно ложных догадок и без всякого критического такта. Ругань эта могла быть оправдана ими только благодаря той готовности, с которою Байрон, придя к иным взглядам, извинился перед ними и старался заглазить последствия своих прежних заблуждений. Он несколько лет сряду напрасно старался изъять из обращения свою сатиру; ему удалось только уничтожить её пятое издание; первые четыре издания этой сатиры имели громадный успех и принесли автору её желанное удовлетворение.

В начале 1809 года Байрон поселился в Лондоне, чтобы отдать в печать свою сатиру и занять принадлежащее ему место в верхней палате. Так как ему не к кому было обратиться, кто бы провел его в парламент, то он сам ввел себя туда, вопреки всем правилам и обычаям. Вот как описывает эту сцену друг Байрона Даллас. Когда он вошел в палату, то был бледнее обыкновенного, и на лице его можно было прочесть выражение недовольства и негодования. Канцлер лорд Эльдон, улыбаясь, встретил его и любезно приветствовал. Холодным поклонном отвечал Байрон на приветствие и слегка пожал руку, протянутую ему Эльдоном. Канцлер, заметив пренебрежение, с каким отнесся к нему Байрон, возвратился на свое место, а Байрон затем небрежно расселся на одной из незанятых скамеек оппозиции. Просидев здесь несколько минут, он встал и удалился, желая показать этим, к какой партии он принадлежит. «Я занял свое место», сказал он Далласу, – «еперь я могу ехать за границу.» В июне 1809 года он покинул Англию.

Давно уже, как говорится в одном из его писем к матери 1808 года, он чувствовал, «что тот, кто видел только свое: отечество, никогда не будет в состоянии судить о человеке с независимой общей точки зрения»; ибо, говорит он, «познание приобретается из опыта, а не из книг; нет ничего поучительнее познания предмета чувствами».

Сначала он отправился в Лиссабон, и описание Цинтры в первой песне «Чайльд Гарольда» обязано своим появлением именно этому пребыванию. Затем, он поскакал с своим товарищем, мистером Гобгоузом, в Севилью, а оттуда побывал в Кадиксе и Гибралтаре. Ни один из великолепных и исторических памятников Севильи не произвел на него особенного впечатления, но здесь, как и в Кадиксе, все его помышления были исключительно заняты женщинами. Он, как юноша, чувствует себя польщенным тем вниманием, которое ему оказывали красавицы-испанки, и из Севильи, как какие-нибудь священные предметы, привозит с собою косу в три фута длиною. Гибралтар, само собою разумеется, как английский город, является для него «проклятым местом». Но насколько мало его интересуют исторические воспоминания, настолько живо начинают занимать теперь политические отношения его страны, и первое, на чем он останавливается, это отношение Испании к Англии. Обе первые песни «Чайльд Гарольда» показывают, какое горькое презрение питал он ко всей тогдашней английской политике; он смеется над так называемой «Мадридской победой», где англичане имели более 5,000 убитыми, не причинив французам никакого существенного вреда, и даже доходит до такой смелости, что называет Наполеона своим героем.

Из Испании он направляется в Мальту и здесь к воспоминаниям старины, которые впоследствии приводили в такой восторг старого больного В. Скотта, он опять остается совершенно равнодушным. Историко-романтический дух так же мало был ему чужд, как и романтическое национальное чувство. Его поэтические мысли и чувства стремились не к зеленым лугам Англии, не к туманным горам Шотландии, но к Женевскому озеру, с его вечною преле-

стью красок, и к греческому архипелагу. Его занимали не исторические деяния его народа, но война между алой и белой розой, но политика настоящего, а в воспоминаниях старины ему дороги были только предания о великих войнах за свободу. Древние статуи были для него простым камнем; живые женщины ему более нравились, нежели античные богини («горшечная работа» называет он их в «Дон-Жуане»), но он погрузился в размышления на Марафонском поле и воспел его в чудных стихах в своих двух героических поэмах. Когда в последние годы своей жизни он посетил Итаку, то на предложение проводника показать ему памятники острова он ответил: «Я терпеть не могу этого антикварного вздора. Неужели люди думают, что у меня нет светлых минут и что я за тем приехал в Грецию, чтобы пачкать бумагу всякой чушью, в которой и так нет недостатка?» Практический пафос перед свободой поглотил в нем, наконец, даже и поэтический жар. С Байроном окончилась романическая сентиментальность, и начался новый дух в поэзии. Потому-то поэзия его влияла не только на его родину, но и на всю Европу, потому-то он навсегда останется певцом для тех, которые принадлежат своему времени.

На Мальте Байрон почувствовал себя сильно увлеченным одною красивою особой, с которой он познакомился там, мистрис Спенсер Смит, которая из каких-то политических причин находилась под опалой Наполеона, и между ними завязалась горячая дружба, оставившая по себе памятник в целом ряде байроновских стихотворений (Чайльд Гарольд, песнь II, стр. 30: К Флорансе. В альбом. Во время бури. В амбрацийском заливе).

Из Мальты через западную Грецию он отправился в Албанию, «непокорную кормилицу диких сынов», как он называет эту страну, о которой пост:

Там бродит волк, там клюв железный
Острит проснувшийся орел,
Там хищный зверь в горах прошел
И хищный город стал над бездной,
Там бури лес с корнями рвет
И гром грохочет круглый год⁶.

Разве не характеристично для Байрона, что его первое путешествие направлено было именно через те страны, которых вовсе не касалась никакая цивилизация, и где индивидуальность могла развиваться, как ой было угодно, но взирая ни на какие стесняющие понятия о приличии. С этими природными сценами, с этими людьми он находился в свойстве; будучи последователем по прямой линии Руссо, он чувствует себя особенно сильно привязанным ко всем людям, живущим в естественном состоянии⁷. Албанцы и по сию пору еще так же дики, как их предки пелазги; кулачное право и кровавая месть еще и теперь являются у них единственным правовым порядком.

Мужчины и женщины, стоявшие на берегу в своих великолепных одеяниях, в поярковых шляпах или тюрбанах. в сопровождении чернокожих рабов, богато украшенные кони, барабанная дробь призыва муэдзина с минарета, заходящее солнце, освещавшее своими лучами всю эту картину, все это, казалось, было зрелищем из «Тысячи и одной ночи». Янина казалась гораздо более красивым городом, нежели Афины. Туристы близ этого города зачастую теряют своих проводников в том беспросветном мраке, который воспел Байрон, и тут,

⁶ Чайльд Гарольд (перевод Д. Минаева), Песнь III-я, 12 строфа.

⁷ В одной строфе «Чайльд Гарольда» (III-я песнь, 77-я строфа) Байрон изобразил Руссо; строка эта могла быть отлично перенесена на него самого: Здесь прах Руссо. Певец страданья, Страстям он прелесть придавал И доводил до обожанья- Все муки сердца. Он искал В безумьи — близость идеала; Все мысли черные, дела Блестящим светом заливал Его софизмов похвала. Они мгновенно ослепляли, Как блеск от солнечных лучей, Так, что нередко из очей Потоком слезы выбегали, И переполненная грудь В слезах хотела отдохнуть, (Пер. Д. Минаева).

среди гор, имея впереди голодную смерть, он произвол на своих спутников довольно сильное впечатление своим непоколебимым мужеством, которое во всех опасностях составляло его главную характеристическую черту.

В самый день своего прибытия, Байрон был представлен Али-паше, турецкому Бонапарту, которому он всегда дивился, не смотря на его свирепый и дикий характер. Али принял его стоя, был крайне любезен, просил передать свой поклон его матери и сказал, что особенно польстило Байрону, что по его маленьким ушам, белым рукам и кудрявым волосам он узнает его аристократическое происхождение. Посещение Али-паши послужило поводом для изображения нескольких прелестных сцен в четвертой песне «Дон Жуана»; Ламбро и многие другие байроновские образы срисованы с него, которого, между прочим, впоследствии, изобразил и Виктор Гюго в своих «*Orientales*». Али обходился с Байроном, как с избалованным ребенком, и посылал ему на дню раз двадцать то миндаля, то фруктов, то шербету, то еще каких-нибудь лакомств.

Снабженный пашою вооруженными проводниками на случай нападения разбойников, которые там бродили целыми шайками, Байрон путешествовал теперь безопасно по всей Албании, и его дикие спутники до того привязались к нему, что, когда он через несколько дней захворал лихорадкой, грозили доктору смертью, если он не вылечит; вследствие этого, доктор бежал, а Байрон поправился сам собою. Во время этого путешествия, Байрону пришлось переночевать в пещере на берегу Артского залива, где он случайно сделался свидетелем ночной сцены, – танца мечей под пение албанских песен, – сцены, доставившей материал для известного описания этой пляски в «Чайльд Гарольде» (Песнь II, начиная с 67 строфы) и прекрасной песни «*Tamburgi, Tamburgi!*»⁸. В Афинах досада на англичан, разграбивших из Партонона скульптурные произведения, послужила поводом для его стихотворения «Проклятие Минервы», а интрижка, которую он завел там же с дочерью английского консула Макри, – для небольшой песенки «Афинской девушке», героиня которой, много лет спустя, уже сделавшаяся толстой матроной, была постоянным предметом любопытства для английских туристов. 3-го мая Байрон совершил свой известный подвиг: он переплыл Дарданельский пролив. Этим подвигом Байрон гордился всю свою жизнь. Он упоминает о нем, между прочим, и в «Дон Жуане». Все, что ему пришлось видеть и переживать во время своих путешествий по чужим краям, все это впоследствии послужило ему поэтическим материалом. Раз в Константинополе он увидел, как собаки среди бела дня обгладывали труп, и эта им самим пережитая сцена дала повод к изображению ужасов в «Осаде Коринфа» и затем к изображению в «Дон-Жуане» тех ужасных сцен, которыми сопровождалась осада Измаила. А когда он возвращался чрез Морею в Афины, то, как кажется, сам испытал то любовное приключение, которое лежит в основе его «Гяура» (письмо маркизы Слиго упоминает об этом). Во всяком случае, нет никакого сомнения, что он однажды, идя домой с купанья в Пирее, натолкнулся на толпу турецких солдат, которые несли зашитую в мешок молодую девушку, намереваясь ее утопить в море за её любовную связь с христианином. С пистолетом в руке Байрон заставил дикую орду вернуться назад и частью подкупом, частью угрозами добился освобождения девушки.

Но вся эта пестрая скитальческая жизнь не могла дать его душе необходимого для неё удовлетворения. В его последних путевых письмах слышится глубокая грусть. Бесцельность этих путешествий и, вследствие этого, пресыщение жизнью, по-видимому, крайне тяжелым гнетом ложились на его душу. Сверх того, беспокойство о долгах, мысли о пошатнувшемся здоровье, расстроенном частыми лихорадками, и о неимении настоящих друзей, не давали ему ни на минуту покоя. Дома он ждет только приветствий от кредиторов. Тут он получает еще известие о болезни матери. Он спешит в Ньюстед, чтобы увидеть ее еще раз, но при-

⁸ В русс. переводе Д. Минаева «Барабаны! ваш грохот сзывает...» (Изд. Гербеля).

езжает уже на другой день после её смерти. Горничная, увидавшая, как он однажды сидел над трупом и плакал горькими слезами, попробовала было уговорить его не предаваться так горю, но Байрон отвечал ей сквозь слезы: «Был у меня один только друг, и тот вот теперь умер». И все таки он, но желая выказать своего горя пород посторонними, но в силах был преодолеть своей чрезмерной нелюдимости, и отказался проводить свою мать до могилы, а остался стоять у ворот замка, пока похоронная процессия не скрылась из глаз. Затем, он позвал своего пажа, велел принести свою фехтовальную перчатку и принялся с судорожною яростью за свои обычные упражнения. Но горе взяло свое: он бросил перчатку и заперся в своей комнате. Тут с ним сделался припадок меланхолии, во время которого он прибавил в завещании, чтобы его похоронили рядом с его собакой.

Едва вернулся Байрон в Англию, как друг его Даллас обратился к нему с вопросом, не привез-ли он с собой из путешествия каких-нибудь стихов. Поэт, бывший в то же время плохим критиком, не без гордости указал на «Hints from Hogase», новую сатиру в стиле Попа, и, когда друг, по справедливости, не особенно удовлетворенный после прочтения её, спросил его, нет-ли у него чего-нибудь другого, Байрон дал ему, как он выразился, «несколько небольших стихотворений и массу спенсеровских стансов», – это были две первые песни «Чайльд Гарольда». По настоятельной просьбе друга, они были впервые отданы в печать.

Для людей нашего времени впечатление этих двух песен легко сливается с воспоминанием о двух последних песнях, написанных шесть-семь лет позднее тех. Однако следует строго различать эти два впечатления, если хотим вполне отчетливо уяснить себе ход развития байроновского творчества. От первой половины «Чайльд Гарольда» ко второй такой-же резкий переход, как от этой последней к «Дон-Жуану». Стансы, которые показывал Байрон Далласу, написаны очень звучным стихом, глубоко прочувствованы и нередко торжественны; здесь впервые раздаются пение и музыка из тех уст, из которых лилось множество дивных звуков до той норы, пока они сохраняли дыхание. Но здесь пред нами еще только слабый очерк физиономии того поэта, который спустя лет десять сделался известен по всей Европе. Многочисленные и могучия картины природы являются здесь главным предметом, лирические места в сравнении с ними совсем незначительны. Поверхностному взгляду читателя песни эти могут показаться путевыми впечатлениями молодого, знатного и утомленного жизнью англичанина, облагороженными лишь, благодаря строго идеальному, высоко-художественному слогу, так как «Чайльд Гарольд» столько-же идеальное произведение, сколько «Дон-Жуан» реальное. Здесь мы встречаемся с настроением, которое все покрывает одним мрачным колоритом. Но Байрон здесь еще не поэт, переходящий от одного чувства к другому, чаще всего в противоположную крайность, чтобы всем ил придать особую силу, и чем сильнее напряжены эти чувства, тем с большею яростью разрывает он их. Но если мы взглянем на поэта только с одной стороны, в профиль, и забудем язвительную иронию сатирика, забудем его то цинический, то шутливый смех, – перед нами здесь выступит, в пламенном и торжественном пафосе юноши, великое я поэзии нашего века. В этой поэме господствует та субъективность, которая проникает собою все, преобладает, – то я, которого не в силах подавить никакое чувство, которому не чуждо ни одно изображаемое им лицо. В то время, как личность всякого другого поэта могла-бы видоизмениться в воздушную, подвижную или кристаллизированную форму, в то время, как иная личность могла-бы или стусеваться здесь за другою личностью, или-же исчезнуть совершенно в чувственных впечатлениях, охватывавших ее извне, – здесь мы наталкиваемся на то я, которое всегда и везде относится и возвращается к самому себе, на то живое, страстное я, о душевных волнениях которого свидетельствует своего жизненностью даже самая незначительная строфа, подобно тому, как шум отдельной раковины напоминает шум целого моря. Чайльд Гарольд (первоначально Чайльд Бурун), после дико и бурно проведенной молодости, с сердцем, разбитым сплином, покидает свою родину, где не оставляет ни друга, ни возлюбленной. Он

испытывает уже томление жизнью, преждевременное пресыщение наслаждениями; он чувствует, что физический организм располагает его к меланхолии. В нем и следа не осталось беззаветной юношеской веселости, в нем нет уже прежней жажды ни славы, ни удовольствий, он думает, что он уже покончил со всем этим, хотя ему пришлось еще очень мало испытать, и поэт до такой степени полно сливается с своим героем, что никогда даже ни на одну минуту не относится к нему иронически. Все то, что производило такое импонирующее действие на его современников, далеко не соответствует вкусу новейшего более трезвого читателя, ибо трагическая «поза» чересчур резко бросается в глаза, да и время, когда разочарованность могла быть интересна, давным-давно миновало. Но, с другой стороны, всякий опытный глаз легко заметит, что если осторожно удалить маску, – а она здесь, несомненно, есть, – то из-за этой маски выглянет серьезное, мученическое лицо. Эта маска была маска отшельника; снимите ее, и вы увидите за нею истинное одиночество! Эта маска была трагическая меланхолия; сорвите ее, и вы увидите за нею неподдельную грусть! Паломнический плащ Гарольда, во всяком случае – только маскарадное домино, но он скрывает под собою юношу с пламенным чувством, острым умом, юношу, вынесшего из жизни одни разочарования и всю душою стремящегося к полнейшей свободе. В идеальном и Чайльд Гарольда нет ничего неточного: за все его чувства и мысли отвечает сам Байрон. И если кто-нибудь, знакомый с настоящим образом жизни Байрона, в его последующие годы, обратит внимание на контраст между старческою тоскою вымышленной личности и юношеским пылким наслаждением действительной личности, то все это разногласие объясняется единственно тем, что Байрон, твердо державшийся еще в поэзии абстрактно-идеалистического направления, но мог, в первых песнях «Чайльд Гарольда», выказать *всего* своего существа. Конечно, и это произведение является до некоторой степени зеркалом его характера, но в нем живет еще совершенно иной мир, который он мог вполне изобразить и воплотить только в «Дон Жуане» и других своих поэтических произведениях. Не следует поэтому неполноте самоизображения объяснять притворством или аффектацией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.